

Атлантида 2.0. Пробуждение



Жанна Лазар

18+

Жанна Лазар

Атлантида 2.0: Пробуждение

«Автор»

2026

Лазар Ж.

Атлантида 2.0: Пробуждение / Ж. Лазар — «Автор», 2026

Вы думаете, войны, инфляция, культ потребления и страх за будущее — случайность? Нет. Это топливо для тех, кто заключил древний контракт на управление Землёй. Их фамилии вы знаете. Но вы не знаете главного: после потопа Атлантиды именно они утопили истинные ценности, заменив их деньгами, статусом и властью. Атлантида выжила. Она спрятана там, где её не ищут. Сейчас светлые пробуждаются. Цепная реакция уже запущена. Вопрос только в том, успеют ли они до окончания контракта в 2027 году. Эта книга — не роман. Это инструкция по пробуждению.

© Лазар Ж., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Глава	17
Конец ознакомительного фрагмента.	18

Жанна Лазар

Атлантида 2.0: Пробуждение

Глава 1

Мне часто снится один и тот же сон — не просто сон, а целая жизнь, такая же плотная и настоящая, как та, что течёт за окном моей городской квартиры. И я никогда не знаю заранее, когда придёт этот сон, потому что он просто наступает — как та тишина, что бывает перед сильным ветром, когда даже листья замирают в странном ожидании, или как тот сумрак перед рассветом, когда небо ещё не решило, быть ему синим или розовым, и всё вокруг залито молочным, тягучим, почти осязаемым светом, в котором тонут очертания домов и деревьев; я закрываю глаза в своей квартире, в городе, среди бетона и асфальта, вечно спешащих машин и чужих голосов за стеной, а открываю их — там, на пороге белого дома, который стоит на краю пустыни и ждёт меня так терпеливо, как могут ждать только места, где время течёт иначе.

Этот дом — двухэтажный, невысокий, с длинным навесом, который бросает кружевную, вечно дрожащую тень на выбеленную стену, и когда ветер играет с этой тенью, кажется, будто дом тихонько улыбается своим тайным, непонятым нам улыбкам; а на козырьке, прямо над входом, стоит статуя козы — тоже белая, очень старая, с мордой, вылизанной до гладкости бесчисленными ветрами и солнцами, но в этой стёртости есть что-то правильное, какая-то древняя, невысказанная мудрость, словно она здесь была всегда — ещё до меня, ещё до домов, ещё до того, как люди вообще пришли в этот край и решили, что здесь можно жить, можно дышать, можно оставить след. И я иногда, проходя мимо, говорю с ней, она конечно же мне ничего не отвечает. Но мне почему-то кажется, что она кивает — чуть-чуть, едва заметно, — и одобряет мой путь.

— Здравствуй, старая, — говорю я ей однажды утром, останавливаясь у порога, потому что солнце только что поднялось из-за сопки и первый луч упал прямо на её стёртую морду, сделав её на мгновение золотой вместо белой. — Скучала без меня?

Коза молчит, как и положено каменной козе, но мне почему-то кажется, что в её неподвижности есть что-то живое, что-то внимательное, и я добавляю уже серьёзнее: — Я тоже скучала. По тебе. По всему этому.

И мне не нужно слышать ответа, потому что тёплый ветер, прилетевший неизвестно откуда — то ли из пустыни, то ли из леса, — вдруг гладит меня по щеке, и этого достаточно.

Вокруг этого белого дома, насколько хватает глаз, простирается пустыня — не страшная, не мёртвая, не та пустыня, от которой хочется бежать, закрыв лицо руками, а живая, дышащая, меняющая свой цвет от бледно-золотого утром до густого, медового, почти осязаемого перед закатом, когда солнце висит низко и кажется, что песок впитывает его свет, чтобы отдать земле тепло долгой, спокойной ночи; сопки уходят вдаль плавными, ленивыми волнами, как будто сама земля лежит, свернувшись калачиком, и тихонько посапывает во сне, и от этого зрелища становится почему-то так спокойно на душе, словно земля говорит мне своим безмолвным, но оттого не менее ясным голосом: «Здесь не надо спешить, здесь можно просто быть, посиди со мной, помолчи, посмотри, как песок переливается под солнцем».

А справа от моего дома, там, где пустыня нехотя уступает место чему-то другому, начинается лес — сосны, камни, и по краю этого леса, как по живописной кайме, тянется кипарисовая роща, и эти длинные, стройные свечи уходят в небо с такой гордой, сдержанной грацией, будто кто-то очень терпеливый и очень древний выстроил их по ниточке, проверяя каждую

на глазок; когда дует ветер, они тихонько качаются и издают звук — не скрип, не шелест, а что-то среднее между вздохом и очень тихим пением, словно они помнят какую-то мелодию, которую забыли все люди.

Я часто хожу туда, в этот лес, собираю травы — те, что растут только у подножия самого высокого кипариса, и никто другой не знает, где их искать, потому что они не растут на виду, они прячутся в тени, между корнями, там, где земля хранит самую большую тайну. Я сижу на прогретом за день камне, который помнит ещё вчерашнее солнце, и слушаю, и лес говорит со мной — не теми словами, конечно, к которым мы привыкли в городе, где слова летят быстро и часто ничего не значат, а паузами между ветрами.

Однажды, когда я сидела под самым высоким кипарисом, ко мне пришла женщина — не из посёлка, я её раньше не видела, — она шла со стороны леса, но не из леса, а оттуда, где лес встречается с горами, и лицо у неё было такое, будто она давно плакала и уже забыла, как это — не плакать.

— Ты та, кто живёт в белом доме с козой? — спросила она, останавливаясь в нескольких шагах от меня, не решаясь подойти ближе.

— Да, — сказала я, не поднимаясь с камня. — А ты та, кто ищет ответа и боится его услышать.

Она удивилась — я увидела это по тому, как дёрнулась её бровь, как чуть заметно вздрогнули плечи, — и спросила: — Откуда ты знаешь?

— По твоим глазам, — ответила я. — У людей, которые приходят с таким взглядом, всегда один вопрос: «Правильно ли я живу?» И они никогда не хотят слышать правду.

Женщина помолчала, потом села на песок прямо напротив меня, обхватила колени руками и сказала тихо, почти шёпотом: — А ты скажешь правду?

— Я всегда говорю правду, — ответила я. — Это не значит, что ты будешь готова её услышать.

И мы долго сидели молча — я на камне, она на песке, — а кипарисы пели свою древнюю, никому не понятную песню, и ветер приносил запах смолы и ещё чего-то горьковатого, от чего на душе становилось и легче, и грустнее одновременно.

В посёлке меня называют ведьмой, но не так, как в больших городах — с опаской, со страхом, с шёпотом за спиной, когда люди крестятся и обходят тебя стороной, — здесь всё по-другому: здесь «ведьма» звучит почтительно и ласково, как «тётушка» или как «бабушка». И когда дети видят меня на тропинке, они не прячутся за спины матерей, а бегут ко мне, чтобы я погладила их по голове и сказала, что они вырастут сильными и добрыми.

Однажды я шла мимо дома гончара, и его дочка — та, тихая, что потом слепила мне чашку с кипарисом, — сидела на пороге и что-то чертила палочкой на песке.

— Что ты рисуешь? — спросила я, останавливаясь рядом с ней.

— Дом, — сказала она, не поднимая головы. — Твой дом.

Я посмотрела на песок — там был не мой дом. Там был дом, которого я никогда не видела: высокий, с башнями, с окнами, похожими на глаза, и с дверью, которая была открыта, но в неё никто не входил.

— Это не мой дом, — сказала я тихо.

— А ты посмотри лучше, — ответила девочка и подняла на меня свои светлые, почти прозрачные глаза. — Он твой. Просто ты ещё туда не ходила.

Я хотела спросить, что она имеет в виду, но в этот момент из дома вышла её мать, женщина суровая и немногословная, — и, увидев меня, сказала:

— Опять ты ей рассказываешь свои сказки. Она потом всю ночь не спит, мечтает и фантазирует.

— Может, она видит то, чего не вижу я, — ответила я.

Хозяйка гончарной мастерской покачала головой, вздохнула и ушла в дом, но дочка успела шепнуть мне, прежде чем я двинулась дальше:

— Там, в том доме, кто-то ждёт. Он давно ждёт. Скажешь ему, что я видела его?

— Кого? — спросила я.

— Того, кто сидит в твоём кресле, — сказала девочка и убежала.

Моя дверь никогда не заперта — ни днём, ни ночью, ни в жару, когда песок плавится под ногами, ни в редкие дожди, когда пустыня вдруг вспоминает, что такое влага, и покрывается робкими, бледными цветами, которые живут всего один день; кто-то придёт с болью в спине — я дам мазь, заговорю по-тихому, шепча слова, которые сама не помню, но которые приходят сами, когда нужно, и боль уйдёт, не сразу, но уйдёт, отпустит тело, как отпускают старую, ненужную одежду.

Однажды, глубокой ночью, когда пустыня спала и даже кипарисы замолчали, в мою дверь постучали — не громко, не требовательно, а так, будто человек извинялся за то, что пришёл в такое время.

— Войди, — сказала я, отрываясь от создания снадобий — я вообще редко сплю в этом мире, наверное, потому, что прихожу сюда именно для того, чтобы бодрствовать иначе.

Дверь открылась, и на пороге появился пекарь. Я никогда не видела его таким: бледным, растерянным, с руками, которые дрожали, хотя эти руки месили тесто каждый день и никогда не дрожали.

— Тётушка, — сказал он, и голос у него сел, как будто он долго кричал, — тётушка, помоги.

— Что стряслось, — сказала я, указывая на стул у окна, откуда видна пустыня, чёрная в эту ночь, без единой звезды. — Рассказывай.

Он сел, помолчал, потом сказал: — Младший сын пропал. Утром ушёл к кипарисам, говорил, что хочет найти ту траву, которую ты собираешь, чтобы маме подарок сделать. И не вернулся. Мы весь день искали, весь вечер. Жена плачет, старший брат ушёл в лес с факелом, я — к тебе.

Он тяжело вздохнул и еще больше сгорбился от горя.

— Ты видишь то, чего не видим мы, — сказал он умоляюще. — Помоги найти моего сына.

Я встала, накинула свой старый плащ — тот, что из грубой шерсти, не красивой, но тёплой, — и сказала: — Веди.

Мы шли по краю пустыни к лесу, и я слышала, как пекарь тяжело дышит за моей спиной, как иногда он тихонько зовёт: «Сынок, отзовись», — и в голосе его было столько боли, что мне захотелось заплакать, но я знала, что плакать нельзя, потому что слёзы застилают глаза, а мне нужно было видеть.

Когда мы дошли до кипарисовой рощи, я остановилась.

— Здесь, — сказала я. — Он здесь.

— Где? — спросил пекарь, оглядываясь. — Здесь только деревья.

— Не только, — ответила я и пошла в ту сторону, где кипарисы росли гуще, где ветки почти смыкались над головой, создавая шатёр из теней и тишины.

И мы нашли его — маленького, с вечно перепачканными мукой щеками, — он сидел под самым высоким кипарисом, прижав к груди пучок травы, и спал, убаюканный ветром.

Пекарь опустился на колени, обнял сына, заплакал — не стесняясь, не сдерживаясь, как плачут мужчины, когда страх отпускает, когда сердце снова начинает биться ровно.

— Сынок, — говорил он, — сынок, что ты здесь делаешь? Почему не вернулся?

Мальчик открыл глаза — сонные, ничего не понимающие, — и сказал: — Я ждал тётушку. Она всегда приходит сюда. Я хотел отдать ей траву. Чтобы она сварила маме чай. У мамы спина болит.

Я взяла у него траву — ту самую, что растёт у подножия самого высокого кипариса, — погладила его по голове и сказала:

— Спасибо, мой хороший. Мы вылечим твою маму. Она поправится.

Он улыбнулся, закрыл глаза и снова уснул, а пекарь поднял его на руки и понёс домой, и всю дорогу молчал, но когда мы дошли до его двери, он обернулся и сказал:

— Тётушка, я теперь знаю, почему тебя называют ведьмой. Не потому, что ты умеешь колдовать. А потому, что ты видишь то, что мы прячем даже от себя.

— Ступай, — сказала я. — Там тебя ждут.

И он ушёл. А я осталась стоять на тропинке, глядя, как в окнах их дома зажигается свет, как жена пекаря выбегает навстречу и падает на колени рядом с сыном, как её крик — не от боли, от радости — разрывает ночную тишину.

И я подумала: вот зачем я здесь.

Я знаю здесь всех — гончара с дочкой, пекаря с женой и двумя сыновьями, травницу из дальнего края и её быструю, как ящерка, дочку; и все они знают меня. В любой момент мы можем прийти в друг к другу в гости. И нас впустят, и нальют чаю, и не будут спрашивать, зачем мы пришли.

Однажды, когда я сидела на своём крыльце и смотрела, как солнце садится за сопки, окрашивая пустыню в цвет старой меди, ко мне пришла травница — не та, что из дальнего края, а та, что живёт на другом конце посёлка, у самой границы песка и гор, — она пришла не одна, а с внучкой, девочкой лет десяти, которая держалась за подол её юбки и испуганно косилась на мою белую статую.

— Бабушка, — прошептала девочка, — а она правда ведьма?

— Правда, — сказала травница. — Только ты не бойся. Она добрая.

— Все говорят, что ведьмы не могут быть добрыми, — не унималась девочка.

Я наклонилась к ней, понизила голос до шёпота и сказала: — А кто эти все, что считают нас плохими? Может они просто не верят в нас?

Девочка посмотрела на меня округлившимися глазами, потом несмело улыбнулась и спросила: — А ты можешь сделать так, чтобы у меня завтра не было контрольной?

— Нет, — сказала я улыбаясь. — Контрольные я не отменяю. Но могу сделать так, чтобы ты её не боялась.

— А как?

— Вот так, — я взяла её маленькую, чуть перепачканную землёй ладошку и положила в нее цветной камешек. — Чувствуешь, как он греет изнутри и дает уверенности?

Девочка зажала камешек в маленький кулачок, задумалась, кивнула и вдруг спросила: — И он не подведет?

— Никогда не подводил! Твоя задача — только хорошенько подготовиться. А уж он сделает свое дело.

Травница улыбнулась и кивнула мне с благодарностью.

Я — та, кто живёт на краю, между пустыней и лесом, между миром людей и тем, что за его пределами, между сном и явью — хотя здесь, в этом месте, между ними нет чёткой границы, они перетекают друг в друга, как вода в реке, и никогда не знаешь, где кончается одно и начинается другое; мне не страшно, потому что здесь моё место, я его очень люблю, я прихожу сюда отдыхать — во снах, которые не похожи на сны, а похожи на возвращение

домой после долгой, изнурительной дороги, когда скидываешь обувь у порога, выдыхаешь и чувствуешь, как усталость вытекает из тебя, как вода из опрокинутого кувшина.

Иногда я лежу на песке у своего дома, смотрю в небо — оно здесь другое, не такое, как в городе, не серое и не бесконечно высокое, а близкое, тёплое, как одеяло, которым накрывают ребёнка перед сном, — и разговариваю сама с собой или с козой, или с ветром, который всегда слушает и никогда не перебивает.

— Почему я здесь? — спрашиваю я однажды, когда пустыня затихает после дневного зноя и песок ещё хранит тепло, но уже не обжигает.

Ветер не отвечает, но кипарисы чуть слышно вздыхают.

— Я серьёзно, — говорю я, приподнимаясь на локте. — Я прихожу сюда столько, сколько себя помню. Но я не знаю, зачем. Я помогаю людям, да. Но ведь есть в этом что-то ещё? Что-то, чего я не вижу?

Коза молчит, но мне кажется — или я слышу, — что в её каменной груди что-то щёлкает, как будто там внутри есть механизм, который включается только в определённые моменты.

— Ладно, — говорю я, снова ложась на песок. — Ты не скажешь. Я знаю.

И я закрываю глаза. А пустыня накрывает меня своей тёплой, песчаной тишиной, и я засыпаю — в том самом сне, который не отличить от яви, — и мне снится город, бетон, асфальт, чужие голоса за стеной, и я думаю: где я сейчас? Там или здесь? И уже не могу ответить.

Потом этот сон — или эта жизнь, не знаю, как правильнее назвать, — стал другим, и это изменение было таким же неуловимым, как трещина на старом кувшине, которую замечаешь не сразу, а только когда вода начинает понемногу сочиться сквозь, казалось бы, целую стенку; сам посёлок остался прежним — белые стены, кипарисы, песок, поскрипывание старого навеса, запах хлеба от пекаря, глина от гончара, быстрые ноги дочки травницы, мелькающие где-то на краю поселка, — всё на месте, всё дышит той же мерной, успокаивающей жизнью, но в эту жизнь пришли другие — *они* пришли.

Я впервые заметила их, когда возвращалась из кипарисовой рощи с корзиной, полной трав, — спина слегка ныла, песок приятно охлаждал босые ступни, и я думала о том, что вечером нужно сходить к пекарю, его жена жаловалась на тяжесть в ногах, — и вдруг я почувствовала, что за мной кто-то смотрит.

Я обернулась — никого.

Только песок, только кипарисы, только далёкие сопки на горизонте.

— Кто здесь? — спросила я, потому что за долгие годы жизни в этом месте я научилась доверять своему чутью, а оно редко ошибалось.

Тишина.

Я пошла дальше, но через несколько шагов снова остановилась — ощущение чужого взгляда стало сильнее, почти осязаемым, как если бы кто-то положил руку мне на плечо.

— Если ты хочешь что-то сказать, — сказала я в пустоту, не оборачиваясь, — скажи. Я не кусаюсь.

И тогда я увидела их — не сразу, не целиком, а как проступает изображение на старой фотографии, когда держишь её под нужным углом к свету; они были белыми, дымчатыми, почти прозрачными — как молоко, разлитое по воде, или как утренний туман над пустыней, который тает, едва коснётся солнца, — и они смотрели на меня, и в их взгляде не было ни страха, ни угрозы, а было что-то другое, чему я не могла подобрать названия.

— Кто вы? — спросила я, и голос мой прозвучал тише, чем мне хотелось бы.

Они не ответили — по крайней мере, словами, — но я почувствовала, как в моей голове, где-то глубоко, на самой границе слышимости, возникло слово: «*Проснись*».

— Я не сплю, — сказала я, но тут же поняла, что это неправда, или правда, но не вся, или правда, которую нужно проверять каждый раз заново.

Белые фигуры покачнулись — или мне показалось? — и растворились в воздухе, как облачко пара над горячим песком, оставив после себя только странное ощущение: будто кто-то очень важный пытался до меня достучаться, но я не услышала, потому что слушала не тем местом.

С тех пор они стали приходить часто — не каждую ночь, но регулярно, как гости, которые знают, что их всегда ждут, но всё равно звонят в дверь, чтобы не врываться без спроса. Они появлялись, когда я отдыхала в своём белом доме, садились рядом — не на кровать, не на стул, а просто *рядом*, в воздухе, в той самой пустоте, которая между мной и стеной, — и что-то говорили, что-то рассказывали, что-то очень важное, я знала, что важное. Может быть, самое важное из всего, что я когда-либо слышала.

Однажды я очнулась от их присутствия — не рывком, не с криком, а медленно, как всплывают со дна, — и увидела, что один из них стоит у стола, чуть более плотный, чем другие, чуть более белый, и смотрит прямо на меня.

— Ты можешь говорить? — спросила я шёпотом, боясь спугнуть его.

Он кивнул — я не видела движения головы, но почувствовала его, как чувствуешь смену погоды за час до дождя.

— Тогда скажи, зачем вы приходите?

И он ответил — не голосом, не звуком, а тем, что можно назвать внутренним словом, которое слышишь не ушами, а всем телом: *«Ты нужна. Там, откуда мы. Но сначала ты должна проснуться»*.

— Я не понимаю, — сказала я честно.

«Поймёшь. Когда придёт время. А пока — не бойся. Мы рядом».

И он исчез, а я долго сидела, глядя в окно на пустыню, которая в ту ночь почему-то казалась мне не просто пустыней, а чем-то большим — чем-то, что скрывает тайну под своим песком, что-то, что ждёт, когда я, наконец, научусь смотреть не только глазами.

Но когда я просыпалась — у себя в городе, в своей квартире, с открытыми глазами и тяжёлой, чугунной головой, — я не помнила ни слова, ни звука, ни даже интонации; помнила только ощущение, как будто кто-то погладил меня по голове и сказал то, что нужно было сказать, но слова растворились, как тот утренний туман над пустыней, и остался только голос — беззвучный, но ясный, как звон колокольчика на ветру: *«Проснись»*.

После нескольких таких быстротечных посещений они начали приходить ко мне по-настоящему.

Не мелькать на краю зрения, не стоять в отдалении, переминаясь с ноги на ногу, как стеснительные гости, которые не решаются войти, а именно приходить — в мой дом, в ту самую тишину, которая наступает между закатом и первой звездой, когда пустыня замирает и даже песок перестаёт шевелиться.

В этом мире, в белом доме на краю пустыни, я вообще редко спала; я приходила сюда отдыхать от города, но отдых этот был не в том, чтобы провалиться в темноту и забытьё, а в том, чтобы бодрствовать по-другому — глубоко, ясно, без той вечной усталости, которая наваливается на меня в обычной жизни к вечеру, когда веки тяжелеют, а мысли путаются, как нитки в старом клубке.

Я лежала на своей кровати — простой, деревянной, с льняным покрывалом, которое пахло лавандой и ещё чем-то горьковатым, чем-то, что я не умела назвать, — и смотрела в окно на пустыню, которая дышала в такт моему дыханию, и тогда они приходили.

Они не входили через дверь, они просто *появлялись*, как появляется роса на траве — незаметно, беззвучно, и вот они уже здесь, белые, дымчатые, молочные, с лёгким свечением, которое не освещало комнату, но делало её почему-то более тёплой, более живой, более *моей*, чем когда я была в ней одна.

Они садились рядом — не на стул, не на край кровати, а просто *рядом*, в воздухе, в той самой пустоте, которая между мной и стеной, — и начинали говорить.

Я слышала их.

Не ушами — ушами я слышала только ветер за окном да редкий скрип навеса, — а чем-то другим, чем-то, что расположено где-то между сердцем и горлом, между тем местом, где рождаются слёзы, и тем, где живёт тихая, ничем не объяснимая уверенность: *это правда, это важно, слушай*.

Они рассказывали мне истории.

Не про посёлок и не про травы — я и так знала всё про свой посёлок, каждую тропинку, каждую трещину на стенах, каждый утренний крик петуха у пекаря за забором.

Они рассказывали про что-то другое.

Про место, где я была до того, как стала собой.

Про время, когда не было ни пустыни, ни леса, ни даже песка — только свет, густой и тёплый, как молоко, и в этом свете были другие существа, такие же, как они — белые, дымчатые, — и я была среди них.

— Ты была одной из нас, — говорили они (я не слышала голосов, но знала, что они говорят именно это). — Ты пришла туда, где сейчас находишься, потому что вызвалась сама. Добровольно. Ты сказала: «Я пойду. Я помню. Я вернусь и расскажу».

— Расскажу что? — спрашивала я, и голос мой в этом диалоге был совсем тихим, почти детским, хотя в посёлке меня слушались взрослые мужчины и женщины, которые были вдвое старше меня.

— Расскажешь им, — отвечали они. — Тем, кто забыл. Тем, кто спит. Тем, кто живёт в городе из бетона и асфальта и думает, что это и есть вся жизнь.

— Я не помню, что должна рассказать, — говорила я, и в голосе моём звучала такая настоящая, такая неподдельная тоска, что даже кипарисы за окном, казалось, замирали, чтобы не мешать.

— Ты вспомнишь, — говорили они. — Когда придёт время. А пока мы приходим, чтобы ты не забыла, что это время вообще существует. Что оно приближается. Что ты — не случайно здесь.

И они говорили ещё много чего — говорили долго, иногда всю ночь, пока пустыня за окном не начинала светлеть, и первые лучи солнца не касались статуи козы на козырьке, и тогда они начинали бледнеть, таять, уходить обратно в тот свет, из которого пришли.

— Не уходите, — просила я. — Я ещё не всё запомнила.

— Ты запомнишь, — отвечали они. — Всё запомнишь. Просто не здесь.

И вот что самое мучительное — они оказались правы, но совсем не так, как мне хотелось бы.

Потому что когда я просыпалась — нет, не так: когда меня *выдёргивало* из того мира, из белого дома, из тишины и запаха кипарисов, когда я открывала глаза в своей городской квартире, в постели, которую я не всегда успевала заправить с утра, с телефоном, который уже светился уведомлениями о рабочих письмах и пропущенных звонках, — я *помнила*.

Я помнила, что они приходили.

Я помнила, как они сидели рядом — белые, дымчатые, молочные.

Я помнила их голоса — не звуки, но то, что было вместо звуков, ту плотную, тёплую тишину, в которой рождались слова.

Я помнила, как они смотрели на меня — без глаз, но так, что мне хотелось плакать от той нежности, которая была в их взгляде, нежности, которую я не получала ни от кого в этом мире, потому что здесь де все слишком заняты, слишком устали, слишком боятся показаться уязвимыми.

Я помнила даже, как пахло от них — не запахом, конечно, потому что у существ, которые сотканы из молочного света, не может быть запаха в том смысле, в каком мы привыкли, но было что-то, что я *ощущала* как запах: что-то свежее, чистое, как первый снег или как вода из горного родника, которую пьёшь с ладони и не можешь напиться.

Я помнила всё.

Кроме одного.

Я не помнила, что именно они мне рассказывали.

Я просыпалась — и знала: было что-то важное. Самое важное. То, ради чего они приходили. То, ради чего я, по их словам, вызвалась добровольно прийти в этот мир, в эту жизнь, в этот город из бетона и асфальта.

Но слова — те самые слова, которые они произносили, которые звучали во мне так ясно и громко, пока я была там, в белом доме, — эти слова исчезали.

Не постепенно, не размыто, как исчезает сон, когда ты пытаешься удержать его за хвост, а он тает, превращаясь в облачко, в намёк, в сожаление.

Нет.

Они исчезали *резко*.

Как будто кто-то захлопывал дверь в ту самую секунду, когда я пересекала границу между сном и явью, между пустыней и городом, между тем, кто я есть на самом деле, и той женщиной, которая каждое утро пьёт кофе и смотрит в окно на серые многоэтажки.

Я сидела на кровати, обхватив колени руками, и чувствовала, как в голове у меня — не в мыслях, а в каком-то другом месте, более глубоком, более древнем, — пульсирует пустота.

Она была *тёплой*.

Эта пустота.

Она не была похожа на забытьё, когда не помнишь, что тебе снилось, и плевать. Она была похожа на рану, которая уже зажила, но ты всё равно помнишь, что там, под кожей, было что-то живое, что-то, что болело, и вот этого живого больше нет, а пустота осталась.

— Что они мне сказали? — шептала я в тишину своей квартиры, и тишина не отвечала.

— Зачем они приходили?

— Что я должна была запомнить?

Я закрывала глаза — пыталась вернуться, ухватиться за край того сна, который не был сном, — но дверь была закрыта.

Не наглухо, нет.

Я знала, что вечером, когда город устанет и затихнет, когда я лягу в постель и закрою глаза, дверь откроется снова, и я окажусь там, в белом доме, на краю пустыни, и они снова будут сидеть рядом, белые, дымчатые, молочные, и снова будут говорить.

И я снова буду слушать.

И снова буду помнить — до того самого момента, когда открою глаза в городе.

А потом — пустота.

Тёплая, живая, пульсирующая пустота, в которой утонули самые важные слова, которые я когда-либо слышала.

Однажды, после особенно долгой ночи — они говорили со мной до самого рассвета, и я чувствовала, что на этот раз запомнила больше, чем обычно, что-то зацепилось, что-то осталось, — я проснулась в своей городской квартире и, прежде чем открыть глаза, замерла.

— Не двигайся, — сказала я себе. — Не открывай глаза. Не дыши. Пусть останется.

Я лежала неподвижно, как статуя козы на козырьке, и пыталась удержать то, что ускользало.

Сначала я ничего не чувствовала — только тепло от одеяла и далёкий звук машин за окном.

Потом — что-то мелькнуло. Образ. Не слово — картинка.

Белый свет. Много белого света. И я в этом свете — не такая, как сейчас, а другая — лёгкая, прозрачная, почти такая же, как они.

И кто-то говорит мне — не из белых, кто-то другой, кто-то, кого я не вижу, но чей голос я знаю так же хорошо, как знаю своё дыхание, — говорит:

— *Ты помнишь, зачем идёшь?*

И я отвечаю — не словами, а тем, что внутри меня, тем, что не умеет врать:

— *Помню.*

— *Тогда иди. И возвращайся.*

Образ лопнул, как мыльный пузырь.

Я открыла глаза.

Пустота.

Тёплая, живая, пульсирующая.

Но теперь в этой пустоте было что-то ещё.

Маленькая заноза.

Одно слово.

Я не знала, откуда оно взялось — из того образа? из их разговоров? из моей собственной памяти, которая вдруг проснулась на секунду и снова уснула?

Я не знала.

Но слово было.

Я прошептала его вслух, проверяя, как оно звучит в тишине моей городской квартиры:

— *Атлантида.*

И сердце моё замерло.

Не от страха.

От узнавания.

Как будто я произнесла не чужое слово, не выдумку, не миф, который читала в книгах, а своё собственное имя.

То, которое забыла.

То, которое они пытались мне вернуть.

Я пыталась потом много раз удержать больше информации.

Я пробовала вести дневник: просыпалась, хватала ручку и писала всё, что осталось в голове, пока оно не исчезло.

Но в голове ничего не оставалось.

Я писала: *«Они приходили. Белые. Говорили что-то важное».*

И всё.

Потому что важное — исчезало быстрее, чем я успевала открыть глаза.

Я пробовала не просыпаться резко, а выплывать медленно, как учат в книгах по осознанным сновидениям.

Но воспоминания меня не слушались.

Меня выталкивали, выталкивали грубо, стремительно, как выталкивают парашютиста из самолёта, не спрашивая, готов ли он, смотрит ли вниз, помнит ли, где земля.

И я падала.

В своё тело.

В свою постель.

В свой город.

В свою жизнь.

А слова — те самые, которые могли бы всё объяснить, — оставались там, в белом доме, на краю пустыни, висли в воздухе, ещё тёплые от их голосов, и ждали моего возвращения.

Но когда я возвращалась — в следующую ночь, — они начинали сначала.

Как будто мы никогда не разговаривали.

Как будто все предыдущие слова были не нужны, важны только эти, новые, которые тоже исчезнут с рассветом.

И я слушала.

И забывала.

И слушала снова.

И так — месяцы.

Может быть, годы — я не знаю, потому что там, в белом доме, время текло иначе.

Но каждый раз, просыпаясь в городе, я чувствовала на губах вкус чего-то, что вот-вот скажу, но не скажу, потому что слова уже ушли, а осталась только тоска по ним.

Такая же тёплая, как пустыня вечером.

Такая же живая, как кипарисы на ветру.

Такая же безмолвная, как статуя козы, которая смотрит вдаль и ждёт, когда я, наконец, научусь помнить.

Мне было девятнадцать, когда я впервые по-настоящему испугалась — не той лёгкой, щекочущей тревогой, которая приходит и уходит, как облако. А глухим, животным, до дрожи в коленях и кома в горле страхом, когда сидишь на кровати, обхватив колени руками, и боишься закрыть глаза, потому что вдруг он снова там, в твоём доме, в твоём кресле, в твоём самом безопасном, самом родном месте, которое перестало быть безопасным.

Я училась тогда на юриста — странная, казалось бы, профессия для той, кто живёт наполовину в другом мире, — и в тот вечер я поздно возвращалась из библиотеки, нагруженная книгами по римскому праву и уголовному процессу, и думала о том, как странно устроен человек: днём он зубрит статьи о кражах и убийствах, а ночью видит сны о белых домах и кипарисах.

Я легла спать усталая, почти сразу провалилась в темноту и открыла глаза уже там — в своём белом доме, на краю пустыни.

Всё было как обычно: ветер, песок, далёкий звон кипарисов. Я вышла на крыльцо, потянулась, подмигнула козе — она сегодня почему-то была смурнее обычного, — и пошла по тропинке к посёлку. День клонился к вечеру, тени вытянулись, стали длинными и тонкими, как пальцы старухи, которые помнят много работы, а белые стены домов казались розовыми в закатном свете, мягкими, почти живыми, словно они дышали этим светом.

Я задержалась у пекаря — его жена, как всегда, высунулась из окна и закричала:

— Заходи! Пирог с вишней!

— С удовольствием! — крикнула я в ответ, смеясь.

И мы пили чай и разговаривали до поздней ночи. Я спохватилась, когда заухали филины в кипарисах.

— Вот мы с тобой заболтались. А я же тебе принесла капли для глаз. — пробормотала я, вытаскивая небольшой флакончик из кармана плаща. — Пойду я. Поздно уже. Спасибо за чай, пирог и приятную беседу.

— Холодно уже на улице, — заметила, выглянув за дверь жена пекаря.

— Не замёрзну, — сказала я. — У меня плащ тёплый.

— Плащ! — фыркнула она. — Твоему плащу сто лет в обед. Дай я тебе новый свяжу, к зиме.

— Свяжи, — сказала я. — Я буду носить с удовольствием.

Я шла не спеша, наслаждаясь вечерней прохладой, и уже издалека, только ступив на знакомую тропинку, которая ведёт от околицы к моему дому, я поняла, что в доме кто-то есть, потому что дверь была открыта, как всегда, но из открытой двери тянуло не привычным теплом и покоем, а чем-то чужим, тяжёлым, древним, как сама пустыня, которая помнит времена, когда здесь ещё не было ни домов, ни людей, ни даже кипарисов.

Я вошла — медленно, осторожно, как входят в чужой дом, хотя это был мой дом, — и увидела его: он сидел в моём кресле, в том самом, из которого я обычно смотрю на закат, из которого видно, как пустыня темнеет, как первые звёзды зажигаются над сопками, как тишина становится такой плотной, что её можно резать ножом.

Он был похож на тех белых, дымчатых — такая же нечеловеческая лёгкость, такая же прозрачность, — но одновременно совсем другим, потому что вместо их молочного, мягкого, почти ласкового свечения в нём была темнота, густая, плотная, как смола, которую варят из коры, чтобы запечатывать амфоры; не злая — нет, — просто иная, тяжелее, древнее, как будто этот свет — нет, не свет, эта тьма — помнила что-то, чего не помнили уже даже кипарисы.

Он не пошевелился, когда я вошла, не поднял головы, не сделал ни одного движения, которое выдало бы в нём живое существо, — он просто сидел, неподвижный, как статуя козы на козырьке, только без её терпеливой, вековой доброты.

— Ты знаешь, кто я? — спросил он.

Голос его был тихим — таким тихим, что я услышала его не ушами, а всем телом, каждой клеткой.

— Нет, — сказала я, и голос мой, к моему удивлению, прозвучал твёрже, чем я себя чувствовала. — Но раз ты в моём доме, ты мой гость. А гостям я предлагаю чай.

Он молчал долго — так долго, что я уже начала думать, не уйти ли мне, не позвать ли кого-то из посёлка, хотя знала, что никто из посёлка не сможет помочь, потому что они не видят того, что вижу я, — но потом он сказал:

— Чай не нужен. Я пришёл не пить чай.

— А зачем? — спросила я, делая шаг вперёд.

— Я пришёл помочь тебе.

Он протянул руку — темную, дымчатую с едва заметными границами. Я смотрела на эту руку, и в голове у меня почему-то застряла одна мысль, совершенно неуместная и глупая: «А коза на козырьке, она видит? Она знает?»

— Чем ты можешь мне помочь? — спросила я, не двигаясь с места.

— Ты не знаешь, кто ты на самом деле, — сказал он, и в его голосе, таком ровном и спокойном, мне почудилась нотка чего-то, похожего на усталость. — Ты думаешь, что ты просто ведьма из маленького посёлка на краю пустыни. Но ты — больше. Гораздо больше. И твоё место не здесь.

— Моё место здесь, — сказала я твёрдо. — Я сама его выбрала.

— Ты его не выбирала, — ответил он. — Тебя спрятали. И они приходят не будить тебя. Они приходят напомнить, что ты должна вернуться. Но они не знают, что обратный путь опасен. А я знаю.

— И ты проведешь меня по нему безопасно? — спросила я.

— Я проведу тебя, — сказал он и снова протянул руку. — Если ты готова.

Я посмотрела на его руку — чёрную, затягивающую, — и почувствовала, как внутри меня что-то замерло, как замирает зверь, почуявший ловушку, и в то же время что-то другое — глубже, древнее, — тянулось к этой руке, как к единственному ответу на вопрос, который я боялась себе задать.

— Я не готова, — сказала я.

— Тогда ты никогда не узнаешь, кто ты, — сказал он.

Я подошла ближе — не знаю зачем, может быть, чтобы рассмотреть его лицо, которого не было, может быть, чтобы коснуться той чёрной руки, которая обещала ответы, — и в этот момент я услышала голос, не его, чужой, но очень знакомый, как будто я слышала его всегда, с самого рождения, но никогда не обращала внимания:

— *Уходи. Тебе не туда.*

И тот, чужой, который был во мне, или надо мной, или вокруг меня, — я так и не поняла, — схватил меня за плечи и вытолкнул из сна, как выталкивают из горящего дома, не спрашивая, взял ли ты самое важное, успел ли попрощаться.

Я проснулась с криком — не громким, скорее хриплым, как у человека, который долго не пользовался голосом, — и долго сидела на кровати, обхватив колени руками, и смотрела на серый потолок своей городской квартиры, на котором медленно проплывали тени от проезжающих машин.

Сердце колотилось как сумасшедшее. Мне было страшно спускать ноги с кровати и идти в темноту кухни. В горле все пересохло и из глотки вырывался хрип и кашель.

— Тебе не туда, — повторила я вслух, проверяя, как звучат эти слова в тишине.

Они звучали как приговор.

Больше я туда не пойду.

Там небезопасно.

Я зажгла свет — в три часа ночи, когда весь город спал, а я сидела на кровати в своей маленькой съёмной квартире и боялась закрыть глаза.

Кое как на ватных ногах я дошла до кухни и налила себе воды в стакан. Выпила его залпом и начала соображать, что это был сон.

Но выглядело это как будто наяву и страшно было так, что я едва не сошла с ума.

Вот это был бы номер!

Пора заканчивать с этой магией, эзотерикой и прочей ерундой, а то я доиграюсь до дурдома.

Я достала все книги про астральные путешествия, про чёрную и белую магию, про то, как ходить между мирами, и сложила их в коробку.

— Всё, — сказала я себе испуганно. — Хватит.

Я заклеила коробку скотчем, убрала её в дальний угол шкафа и больше никогда к ней не возвращалась.

С тех пор прошло много лет — я стала психологом, я помогала другим людям разбираться в их снах, их страхах, их тёмных, запутанных лабиринтах, — и иногда, очень редко, я позволяла себе вспомнить белый дом, кипарисы, песок, белую козу на козырьке, которая смотрит в пустыню и ждёт.

Я думала, что всё это осталось там, в девятнадцати годах, в той коробке, заклеенной скотчем, в той жизни, которую я выбрала забыть.

Глава

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.